

К.М.Станюкович. Собрание сочинений в 10 томах. Том 5. //Правда,  
Москва, 1977  
FB2: Vitmaier, 2008-05-07, version 1.0  
UUID: 6a6a7a2f-7fb1-102b-9c90-12cbc7843eac  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

## **Одно мгновение**

# Содержание

I.....	.0004
II.....	.0013
III.....	.0017

**Константин Михайлович  
Станюкович  
ОДНО МГНОВЕНЬЕ**

Однажды чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами узлов по восьми, направляясь в Рио-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве.

Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который два года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине.

Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера, изящная блондинка с рыжеватыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои тридцать девять лет.

Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо.

А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусовый

своей высокой, полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальнее плавание, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес:

– Самое последнее дело пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получил ассаже – инженерша дама строгая – и ба-бац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете... В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был...

Все принимавшие участие в разговоре согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийства от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство.

– Это все равно, что бросить судно в минуту опасности! – с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под сорок, с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробыв-

ший всю севастопольскую осаду на четвертом бастионе и раненный во время последнего штурма. – Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания. Не правда ли?

Все согласились, что правда.

Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера.

Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь им, молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской.

Это был мичман Стоянов, смугловатый брюнет лет двадцати пяти, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, в выражении которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опущенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла.

Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходиллся. И несмотря на это Стоянова все уважали за его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором[1], аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений!

Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного, по тогдашним временам, морского офицера.

Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось даже, как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди

них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу; и в то же время был самым горячим представителем за них.

Никто и не знал, скольких он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в «Морском сборнике».

И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаза-в-глаза в его каюте, нередко снисходил к просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и – сам в сущности не злой человек – в душе питал благодарное чувство к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей.

И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет.

Он это чувствовал, он видел, что и в кают-компани он далеко не любим. Он пони-

мал, что стоит только несколько приспособиться к людям – и все изменится, но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок.

Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и видимо что-то угнетало его.

Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приезжавшей на корвет в день ухода его из Кронштадта.

– А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеич? – обратился к Стоянову старший офицер.

– Я слушал, Иван Николаич.

– Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?

– Не согласен, Иван Николаич.

– И оправдываете самоубийство?

– Вполне.

– Из-за какой-нибудь несчастной любви?

Вы, Борис Сергеич?

– Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя! – Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов.

– Например?

– После какой-нибудь подлости... после позора...

– А искупить его лучшей жизнью разве нельзя?.. Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек.

– Люби кататься, люби и саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться за нее! – вставил штурман.

– Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно! Лучше смерть!

– Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеич! В ошалелом состоянии, из-за любви, как это ни глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши...

– Я только и понимаю такое самоубийство.

– А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете? Нет, батенька, не легко. Я испытал это раз, когда мы на «Змейке» наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка. Ох, и как же жутко было! – заметил старший офицер.

– Не спорю, что легко... Но...

Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал:

– Но ведь это одно мгновение... Одно только мгновение! – повторил он.

И смолк, видимо не желая продолжать этот разговор.

Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо рокочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском.

Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз.

– Всего одно мгновенье! – чуть слышно

произнес он и спустился вниз, в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки.

Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте.

Когда, в исходе четвертого часа, рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего восемь склянок, выбежал наверх и принял вахту.

С тоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой.

Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых риз, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно-спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски.

Он еще раз обвел этим тоскливым жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз.

– Пора! – прошептал он.

И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес:

– Сигнальщик!

Подремывавший матросик явился к нему.

– Поди... разбуди мичмана Варламова... Скажи, что я болен... прошу сменить меня.

Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов.

И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез.

Через пять минут явился заспанный, недвольный Варламов.

– Извините, Андрей Андреич... Я болен... Примите от меня вахту... Я должен уйти...

Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица.

– Идите, идите, Борис Сергеич... Что с вами?

– Скоро узнаете... Прощайте, Андрей Андреич.

Он крепко стиснул руку мичмана, как-то

жалобно заглянул ему в глаза и произнес:

– Еще раз простите, что беспокоил.

– Помилуйте... какие извинения!.. Идите скорей... Вы совсем больны, Борис Сергеич.

– Иду... иду... Ведь одно мгновенье...

И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан.

Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг.

– Фок и грот на гитовы! Марса-фалы отдать! – командовал отчаянным голосом мичман.

Через минуту капитан и старший офицер были наверху.

– Что случилось?

– Стоянов бросился за борт!

И капитан и старший офицер были поражены.

Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски.

Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова.

И через час баркас вернулся; бывший на нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи. Но мичман не хотел его взять.

Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые.

Старший офицер утирал слезы.

Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил:

– Вот рапорт Бориса Сергеевича... Прочтите, господа. А я снова читать не могу...

С этими словами он торопливо ушел.

И старший офицер прочел рапорт следующего содержания:

«Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл пятьсот рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимися мне за месяц жалованьем и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее после такого позора я жить не могу. Могли не узнать о моей растрате товарищи, но я-то ее знал и следовательно не считал себя в праве воровски пользоваться общим уважением и оставаться жить на свете.

Донося об этом вашему высокоблагородию, прошу переслать прилагаемое письмо по ад-

ресу».

Старший офицер потрясенный ушел к себе в каюту. У всех на глазах стояли слезы.

*1896*

# 1

Офицер, заведующий хозяйственной частью.  
(Прим. автора.)

[^^^]